



И. В. КИРЕЕВСКИЙ

Нечто о характере поэзии Пушкина

Отдавать себе отчет в том наслаждении, которое доставляют нам произведения изящные, есть необходимая потребность и вместе одно из высочайших удовольствий образованного ума: отчего же до сих пор так мало говорят о Пушкине? Отчего лучшие его произведения остаются неразобранными*, а вместо разборов и суждений слышим мы одни пустые восклицания: «Пушкин поэт! Пушкин истинный поэт! “Онегин” поэма превосходная! “Цыганы” мастерское произведение!» и т. д.? Отчего никто до сих пор не предпринял определить характер его поэзии вообще, оценить ее красоты и недостатки, показать место, которое поэт наш успел занять между первоклассными поэтами своего времени? Такое молчание тем непонятнее, что здесь публику всего менее можно упрекнуть в равнодушии. Но, скажут мне, может быть, кто имеет право говорить о Пушкине?

Там, где просвещенная публика нашла себе законных представителей в литературе, там немногие, законодательствуя общим мнением, имеют власть произносить окончательные приговоры необыкновенным явлениям словесного мира. Но у нас ничей голос не лишний. Мнение каждого, если оно составлено по совести и основано на чистом убеждении, имеет право на всеобщее внимание. Скажу более: в наше время каждый мыслящий человек не только может, но еще обязан выражать свой образ мыслей

* Все, что в «Сыне отечества», «Дамском журнале», «Вестнике Европы» и «Московском телеграфе» было сказано до сих пор о «Руслане и Людмиле», «Кавказском пленнике», «Бахчисарайском фонтане» и «Онегине», ограничивалось простым извещением о выходе упомянутых поэм или имело главным предметом своим что-либо постороннее, как, например, романтическую поэзию¹ и т. п.; но собственно разборов поэм Пушкина мы еще не имеем.

перед лицом публики, если, впрочем, не препятствуют тому посторонние обстоятельства; ибо только общим содействием может у нас составиться то, чего так давно желают все люди благомыслящие, чего до сих пор, однако же, мы еще не имеем и что, быв результатом, служит вместе и условием народной образованности, а следовательно, и народного благосостояния: я говорю об общем мнении. К тому же все сказанное перед публикой полезно уже потому, что сказано: справедливое — как справедливое; несправедливое — как вызов на возражения.

Но, говоря о Пушкине, трудно высказать свое мнение решительно; трудно привести к единству все разнообразие его произведений и приискать общее выражение для характера его поэзии, принимавшей столько различных видов. Ибо, выключая красоту и оригинальность стихотворного языка, какие следы общего происхождения находим мы в «Руслане и Людмиле», в «Кавказском пленнике», в «Онегине», в «Цыганах» и т. д.? Не только каждая из сих поэм отличается особенностью хода и образа изложения (*la manière*); но еще некоторые из них различествуют и самым характером поэзии, отражая различное воззрение поэта на вещи, так что в переводе их легко можно бы было почесть произведениями не одного, но многих авторов. Эта легкая шутка, дитя веселости и остроумия, которая в «Руслане и Людмиле» одевает все предметы в краски блестящие и светлые, уже не встречается больше в других произведениях нашего поэта: ее место в «Онегине» заступила уничтожающая насмешка, отголосок сердечного скептицизма, и добродушная веселость сменилась здесь на мрачную холодность, которая на все предметы смотрит сквозь темную завесу сомнений, свои наблюдения передает в карикатуре и созидает как бы для того только, чтобы через минуту насладиться разрушением созданного. В «Кавказском пленнике», напротив того, не находим мы ни той доверчивости к судьбе, которая одушевляет «Руслана», ни того презрения к человеку, которое замечаем в «Онегине». Здесь видим душу, огорченную изменами и утратами, но еще не изменившую самой себе, еще не утратившую свежести прежних чувствований, еще верную заветному влечению, — душу, растерзанную судьбой, но не побежденную: исход борьбы еще зависит от будущего. В поэме «Цыганы» характер поэзии также совершенно особенный, отличный от других поэм Пушкина; то же можно сказать почти про каждое из важнейших его творений.

Но, рассматривая внимательно произведения Пушкина, от «Руслана и Людмилы» до пятой главы «Онегина», находим мы, что при всех изменениях своего направления поэзия его имела

три периода развития, резко отличающихся один от другого. Постараемся определить особенность и содержание каждого из них и тогда уже выведем полное заключение о поэзии Пушкина вообще.

Если по характеру, тону и отделке, сродным духу искусственных произведений различных наций, стихотворство, как живопись, можно делить на школы, то первый период поэзии Пушкина, заключающий в себе «Руслана» и некоторые из мелких стихотворений, назвал бы я *периодом школы итальянско-французской*. Сладость Парни, непринужденное и легкое остроумие, нежность, чистота отделки, свойственные характеру французской поэзии вообще, соединились здесь с роскошью, с избытком жизни и свободой Ариоста. Но остановимся несколько времени на том произведении нашего поэта, которым совершилось первое знакомство русской публики с ее любимцем.

Если в своих последующих творениях почти во все создания своей фантазии влетает Пушкин индивидуальность своего характера и образа мыслей, то здесь является он чисто *творцом-поэтом*. Он не ищет передать нам свое особенное воззрение на мир, судьбу, жизнь и человека; но просто созидает нам новую судьбу, новую жизнь, свой новый мир, населяя его существами новыми, отличными, принадлежащими исключительно его творческому воображению. Оттого ни одна из его поэм не имеет той полноты и оконченности, какую замечаем в «Руслане». Оттого каждая песнь, каждая сцена, каждое отступление живет самобытно и полно; оттого каждая часть так необходимо влетается в состав целого создания, что нельзя ничего прибавить или выбросить, не разрушив совершенно его гармонии. Оттого Черномор, Наина, Голова, Финн, Рогдай, Фарлаф, Ратмир, Людмила — словом, каждое из лиц, действующих в поэме (выключая, может быть, одного: самого героя поэмы), получило характер особенный, резко образованный и вместе глубокий. Оттого, наблюдая ответственность частей к целому, автор тщательно избегает всего патетического, могущего сильно потрясти душу читателя, ибо сильное чувство несовместно с охотою к чудесному — комическому и уживается только с величественно-чудесным. Одно очаровательное может завлечь нас в царство волшебств; и если посреди пленительной невозможности что-нибудь тронет нас не на шутку, заставя обратиться к самим себе, то прости тогда вера в невероятное! Чудесное, призраки разлетятся в ничто, и целый мир небывалого рушится, исчезнет, как прерывается пестрое сновидение, когда что-нибудь в его созданиях напомним нам о действительности. Рассказ Финна, имея другой конец, уничто-

жил бы действие целой поэмы: как в Виландовом «Обероне» один, — впрочем, один из лучших отрывков его — описание несчастий главного героя, слишком сильно потрясая душу, разрушает очарование целого и, таким образом, отнимает у него главное его достоинство². Но неожиданность развязки, безобразие старой колдуньи и смешное положение Финна разом превращают в карикатуру всю прежнюю картину несчастной любви и так мастерски связывают эпизод с тоном целой поэмы, что он уже делается одною из ее необходимых составных частей. Вообще можно сказать про «Руслана и Людмилу», что если строгая критика и найдет в ней иное слабым, невыдержанным, то, конечно, не сыщет ничего лишнего, ничего неуместного. Рыцарство, любовь, чародейство, пиры, война, русалки, все стихии волшебного мира совокупились здесь в одно создание, и, несмотря на пестроту частей, в нем все стройно, согласно, *цело*. Самые приступы к песням, занятые у певца Иоанны³, сохраняя везде один тон, набрасывают и на все творение один общий оттенок веселости и остроумия.

Заметим, между прочим, что та из поэм Пушкина, в которой всего менее встречаем мы сильные потрясения и глубокость чувствований, есть, однако же, самое совершенное из всех его произведений по соразмерности частей, по гармонии и полноте изобретения, по богатству содержания, по стройности переходов, по непрерывности господствующего тона и, наконец, по верности, разнообразию и оригинальности характеров. Напротив того, «Кавказский пленник», менее всех остальных поэм удовлетворяющий справедливым требованиям искусства, несмотря на то, богаче всех силою и глубиной чувствований.

«Кавказским пленником» начинается *второй период пушкинской поэзии*, который можно назвать *отголоском лиры Байрона*.

Если в «Руслане и Людмиле» Пушкин был исключительно *поэтом*, передавая верно и чисто внушения своей фантазии, то теперь является он *поэтом-философом*, который в самой поэзии хочет выразить сомнения своего разума, который всем предметам дает общие краски своего особенного воззрения и часто отвлекается от предметов, чтобы жить в области мышления. Уже не волшебников с их чудесами, не героев непобедимых, не очарованные сады представляет он в «Кавказском пленнике», «Онегине» и проч. — жизнь действительная и человек нашего времени с их пустотою, ничтожностью и прозою делаются предметом его песен. Но он не ищет, подобно Гете, возвысить предмет свой, открывая поэзию в жизни обыкновенной, а в человеке нашего времени — полный отзыв всего человечества; а, подобно Байро-

ну, он в целом мире видит одно противоречие, одну обманутую надежду, и почти каждому из его героев можно придать название *разочарованного*.

Не только своим воззрением на жизнь и человека совпадает Пушкин с певцом Гяура ⁴; он сходствует с ним и в остальных частях своей поэзии: тот же способ изложения, тот же тон, та же форма поэм, такая же неопределенность в целом и подробная отчетливость в частях, такое же расположение, и даже характеры лиц по большей части столь сходные, что с первого взгляда их почтешь за чужеземцев-эмигрантов, переселившихся из Байронова мира в творения Пушкина.

Однако же, несмотря на такое сходство с британским поэтом, мы находим в «Онегине», в «Цыганах», в «Кавказском пленнике» и проч. столько красот самобытных, принадлежащих исключительно нашему поэту, такую неподдельную свежесть чувств, такую верность описаний, такую тонкость в замечаниях и естественность в ходе, такую оригинальность в языке и, наконец, столько национального, чисто русского, что даже в этом периоде его поэзии нельзя назвать его простым подражателем. Нельзя, однако же, допустить и того, что Пушкин случайно совпадает с Байроном; что, воспитанные одним веком и, может быть, одинаковыми обстоятельствами, они должны были сойтись и в образе мыслей и в духе поэзии, а следовательно, и в самых формах ее, ибо у истинных поэтов формы произведений не бывают случайными, но так же слиты с духом целого, как тело с душою в произведениях Творца. Нельзя, говорю я, допустить сего мнения потому, что Пушкин там даже, где он всего более приближается к Байрону, все еще сохраняет столько своего особенного, обнаруживающего природное его направление, что для вникавших в дух обоих поэтов очевидно, что Пушкин не случайно встретился с Байроном, но заимствовал у него или, лучше сказать, невольно подчинился его влиянию. Лира Байрона должна была отозваться в своем веке, быв сама голосом своего века. Одно из двух противоположных направлений нашего времени достигло в ней своего выражения. Мудрено ли, что и для Пушкина она звучала недаром? Хотя, может быть, он уже слишком много уступал ее влиянию и, сохранив более оригинальности, по крайней мере в наружной форме своих поэм, придал бы им еще большее достоинство.

Такое влияние обнаружилось прежде всего в «Кавказском пленнике». Здесь особенно видны те черты сходства с Байроном, которые мы выше заметили; но расположение поэмы доказывает, что она была первым опытом Пушкина в произведениях та-

кого рода, ибо все описания черкесов, их образа жизни, обычаев, игр и т. д., которыми наполнена первая песнь, бесполезно оставивают действие, разрывают нить интереса и не вяжутся с тоном целой поэмы. Поэма вообще, кажется, имеет не одно, но два содержания, которые не слиты вместе, но являются каждое отдельно, развлекая внимание и чувства на две различные стороны. Зато какими достоинствами выкупается этот важный недостаток! Какая поэзия разлита на все сцены! Какая свежесть, какая сила чувств! Какая верность в живых описаниях! Ни одно из произведений Пушкина не представляет столько недостатков и столько красот.

Такое же или, может быть, еще большее сходство с Байроном является в «Бахчисарайском фонтане»; но здесь искуснейшее исполнение доказывает уже большую зрелость поэта. Жизнь гаремская так же относится к содержанию «Бахчисарайского фонтана», как черкесский быт к содержанию «Кавказского пленника»: оба составляют основу картины, и, несмотря на то, как различно их значение! Все, что происходит между Гиреем, Мариєю и Зарею, так тесно соединено с окружающими предметами, что всю повесть можно назвать одною сценою из жизни гарема. Все отступления и перерывы связаны между собой одним общим чувством; все стремится к произведению одного, главного впечатления. Вообще, видимый беспорядок изложения есть неотменная принадлежность байроновского рода; но этот беспорядок есть только мнимый, и нестройное представление предметов отражается в душе стройным переходом ощущений. Чтобы понять такого рода гармонию, надобно прислушиваться к внутренней музыке чувствований, рождающейся из впечатлений от описываемых предметов, между тем как самые предметы служат здесь только орудием, клавишами, ударяющими в струны сердца.

Эта душевная мелодия составляет главное достоинство «Бахчисарайского фонтана». Как естественно, гармонически восточная нега, восточное сладострастие слились здесь с самыми сильными порывами южных страстей! В противоположности роскошного описания гарема с мрачностью главного происшествия виден творец «Руслана», из бессмертного мира очарований спустившийся на землю, где среди разногласия страстей и несчастий он еще не позабыл чувства упоительного сладострастия. Его поэзию в «Бахчисарайском фонтане» можно сравнить с восточною Пери, которая, утратив рай, еще сохранила красоту неземную; ее вид задумчив и мрачен; сквозь притворную холодность заметно сильное волнение души; она быстро и неслышно, как дух, как Зарея,

пролетает мимо нас, одетая густым облаком⁵, и мы пленяемся тем, что видели, а еще более тем, чем настроенное воображение невольно дополняет незримое. Тон всей поэмы более всех других приближается к байроновскому.

Зато далее всех отстоит от Байрона поэма «Разбойники»⁶, не смотря на то что содержание, сцены, описания, все в ней можно назвать сколком с «Шильонского узника». Она больше карикатура Байрона, нежели подражание ему. Бонивар страдает для того, чтобы

Спасти души своей любовь⁷;

и как ни жестоки его мучения, но в них есть какая-то поэзия, которая принуждает нас к участию, между тем как подробное описание страданий пойманных разбойников поселяет в душе одно отвращение, чувство, подобное тому, какое произвел бы вид мучения преступника, осужденного к заслуженной казни. Можно решительно сказать, что в этой поэме нет ничего поэтического, выключая вступления и красоту стихов, везде и всегда свойственную Пушкину.

Сия красота стихов всего более видна в «Цыганах», где мастерство стихосложения достигло высшей степени своего совершенства и где искусство приняло вид свободной небрежности. Здесь каждый звук, кажется, непринужденно вылился из души и, несмотря на то, каждый стих получил последнюю отработку, за исключением, может быть, двух или трех из целой поэмы: все чисто, округлено и вольно.

Но соответствует ли содержание поэмы достоинству ее отделки? Мы видим народ кочующий, полудикий, который не знает законов, презирает роскошь и просвещение и любит свободу более всего; но народ сей знаком с чувствами, свойственными самому утонченному общежитию: воспоминание прежней любви и тоска по изменившей Мариуле наполняют всю жизнь старого цыгана. Но, зная любовь исключительную, вечную, цыгане не знают ревности; им непонятны чувства Алеко. Подумаешь, автор хотел представить золотой век, где люди справедливы, не зная законов; где страсти никогда не выходят из границ должного; где все свободно, но ничто не нарушает общей гармонии и внутреннее совершенство есть следствие не трудной образованности, но счастливой неиспорченности совершенства природного. Такая мысль могла бы иметь высокое поэтическое достоинство. Но здесь, к несчастью, прекрасный пол разрушает все очарование, и, между тем как бедные цыганы любят *горестно и трудно*, их жены, *как вольная луна, на всю природу мимоходом изливают*

*равное сияние*⁸. Совместно ли такое несовершенство женщин с таким совершенством народа? Либо цыганы не знают вечной, исключительной привязанности, либо они ревнуют непостоянных жен своих, и тогда месть и другие страсти также должны быть им не чужды; тогда Алеко не может уже казаться им странным и непонятым; тогда весь быт европейцев отличается от них только выгодами образованности; тогда, вместо золотого века, они представляют просто полудикий народ, не связанный законами, бедный, несчастный, как действительные цыганы Бессарабии; тогда вся поэма противоречит самой себе.

Но, может быть, мы не должны судить о цыганах вообще по одному отцу Земфиры; может быть, его характер не есть характер его народа. Но если он существо необыкновенное, которое всегда и при всяких обстоятельствах образовалось бы одинаково и, следовательно, всегда составляет исключение из своего народа, то цель поэта все еще остается неразгаданною. Ибо, описывая цыган, выбрать из среды их именно того, который противоречит их общему характеру, и его одного представить пред читателем, оставляя других в неясном отдалении, — то же, что, описывая характер человека, приводить в пример именно те из его действий, которые находятся в разногласии с описанием.

Впрочем, характер Алеко, эпизоды и все части, отдельно взятые, так богаты поэтическими красотами, что если бы можно было, прочтя поэму, позабыть ее содержание и сохранить в душе память одного наслаждения, доставленного ею, то ее можно бы было назвать одним из лучших произведений Пушкина. Но в том-то и заключается отличие чувства изящного от простого удовольствия, что оно действует на нас еще больше в последующие минуты воспоминания и отчета, нежели в самую минуту первого наслаждения. Создания истинно поэтические *живут* в нашем воображении; мы забываемся в них, развиваем неразвитое, рассказываем недосказанное и, переселяясь таким образом в новый мир, созданный поэтом, живем просторнее, полнее и счастливее, нежели в старом действительном. Так и цыганский быт завлекает сначала нашу мечту; но при первом покушении присвоить его нашему воображению разлетается в ничто, как туманы Ледовитого моря, которые, принимая вид твердой земли, заманивают к себе любопытного путешественника и при его же глазах, разогретые лучами солнца, улетают на небеса.

Но есть качество в «Цыганах», которое вознаграждает нас некоторым образом за нестройность содержания. Качество сие есть бóльшая самобытность поэта. Справедливо сказал автор «Обозре-

ния словесности за 1827-й год» *, что в сей поэме заметна какая-то борьба между идеальностью Байрона и живописною народностью поэта русского⁹. В самом деле: возьмите описания цыганской жизни отдельно; смотрите на отца Земфиры не как на цыгана, но просто как на старика, не заботясь о том, к какому народу он принадлежит; вникните в эпизод об Овидии — и полнота созданий, развитая до подробностей, одушевленная поэзией оригинальною, докажет вам, что Пушкин уже почувствовал силу дарования самостоятельного, свободного от посторонних влияний.

Все недостатки в «Цыганах» зависят от противоречия двух разногласных стремлений: одного самобытного, другого байронического; посему самое несовершенство поэмы есть для нас залог усовершенствования поэта.

Еще более стремление к самобытному роду поэзии обнаруживается в «Онегине», хотя не в первых главах его, где влияние Байрона очевидно; не в образе изложения, который принадлежит «Дон-Жуану» и «Беппо», и не в характере самого Онегина, однородном с характером Чильд-Гарольда. Но чем более поэт отдаляется от главного героя и забывается в посторонних описаниях, тем он самобытнее и национальнее.

Время Чильд-Гарольдов, слава Богу! еще не настало для нашего отечества: молодая Россия не участвовала в жизни западных государств, и народ, как человек, не стареется чужими опытами. Блестящее поприще открыто еще для русской деятельности; все роды искусств, все отрасли познаний еще остаются неусвоенными нашему отечеству; нам дано еще: надеяться — что же делать у нас разочарованному Чильд-Гарольду?

Посмотрим, какие качества сохранил и утратил цвет Британии, быв пересажен на русскую почву.

Любимая мечта британского поэта есть существо необыкновенное, высокое. Не бедность, но преизбыток внутренних сил делает его холодным к окружающему миру. Бессмертная мысль живет в его сердце и день и ночь, поглощает в себя все бытие его и отравляет все наслаждения. Но в каком бы виде она ни являлась: как гордое презрение к человечеству, или как мучительное раскаяние, или как мрачная безнадежность, или как неутолимая жажда забвения, — эта мысль, всеобъемлющая, вечная, что она, если не невольное, постоянное стремление к лучшему, тоска по недостижимом совершенстве? Нет ничего общего между Чильд-Гарольдом и толпою людей обыкновенных: его страдания, его мечты, его наслаждения непонятны для других; только высокие

* См. 1-й № «Моск<овского> вест<ника>» 1828-го года.

горы да голые утесы говорят ему ответные тайны, ему одному слышные. Но потому именно, что он отличен от обыкновенных людей, может он отражать в себе дух своего времени и служить границею с будущим; ибо *только разногласие связует два различные созвучия*.

Напротив того, Онегин есть существо совершенно обыкновенное и ничтожное. Он также равнодушен ко всему окружающему; но не ожесточение, а неспособность любить сделали его холодным. Его молодость также прошла в вихре забав и рассеяния; но он не завлечен был кипением страстной, ненасытной души, но на паркете провел пустую, холодную жизнь модного франта. Он также бросил свет и людей; но не для того, чтобы в уединении найти простор взволнованным думам, но для того, что ему было равно скучно везде,

...что он равно зевал
Средь модных и старинных зал.

Он не живет внутри себя жизнью особенною, отменною от жизни других людей, и презирает человечество потому только, что не умеет уважать его. Нет ничего обыкновеннее такого рода людей, и всего меньше поэзии в таком характере.

Вот Чильд-Гарольд в нашем отечестве, и честь поэту, что он представил нам не настоящего; ибо, как мы уже сказали, это время еще не пришло для России, и дай Бог, чтобы никогда не приходило.

Сам Пушкин, кажется, чувствовал пустоту своего героя и потому нигде не старался коротко познакомить с ним своих читателей. Он не дал ему определенной физиономии, и не одного человека, но целый класс людей представил он в его портрете: тысяче различных характеров может принадлежать описание Онегина.

Эта пустота главного героя была, может быть, одною из причин пустоты содержания первых пяти глав романа; но форма повествования, вероятно, также к тому содействовала. Те, которые оправдывают ее, ссылаясь на Байрона, забывают, в каком отношении находится форма «Беппо» и «Д<он> Жуана» к их содержанию и характерам главных героев¹⁰.

Что касается до поэмы «Онегин» вообще, то мы не имеем права судить по началу о сюжете дела, хотя с трудом можем представить себе возможность чего-либо стройного, полного и богатого в замысле при таком начале. Впрочем, кто может разгадать границы возможного для поэтов, каков Пушкин, — им суждено всегда удивлять своих критиков.

Недостатки «Онегина» суть, кажется, последняя дань Пушкина британскому поэту. Но все неисчислимы красоты поэмы:

Ленский, Татьяна, Ольга, Петербург, деревни, сон, зима, письмо и пр., и пр. — суть неотъемлемая собственность нашего поэта. Здесь-то обнаружил он ясно природное направление своего гения; и эти следы самобытного созидания в «Цыганах» и «Онегине», соединенные с известною сценою из «Бориса Годунова» *¹¹, составляют, не истощая, третий период развития его поэзии, который можно назвать *периодом поэзии русско-пушкинской*. Отличительные черты его суть: живописность, какая-то беспечность, какая-то особенная задумчивость и, наконец, что-то невыразимое, понятное лишь русскому сердцу; ибо как назвать то чувство, которым дышат мелодии русских песен, к которому чаще всего возвращается русский народ и которое можно назвать центром его сердечной жизни?

В этом периоде развития поэзии Пушкина особенно заметна способность забываться в окружающих предметах и текущей минуте. Та же способность есть основание русского характера: она служит началом всех добродетелей и недостатков русского народа; из нее происходит смелость, беспечность, неукротимость минутных желаний, великодушие, неумеренность, запальчивость, понятливость, добродушие и проч., и проч.

Не нужно, кажется, высчитывать всех красот «Онегина», анатомировать характеры, положения и вводные описания, чтобы доказать превосходство последних произведений Пушкина над прежними. Есть вещи, которые можно чувствовать, но нельзя доказать иначе, как написавши несколько томов комментариев на каждую страницу. Характер Татьяны есть одно из лучших созданий нашего поэта; мы не будем говорить об нем, ибо он сам себя выказывает вполне.

Для чего хвалить прекрасное не так же легко, как находить недостатки? С каким бы восторгом высказали мы всю несравненность тех наслаждений, которыми мы одолжены поэту и которые, как самоценные камни в простом ожерелье, блестят в однообразной нити жизни русского народа!

В упомянутой сцене из «Бориса Годунова» особенно обнаруживается зрелость Пушкина. Искусство, с которым представлен, в столь тесной раме, характер века, монашеская жизнь, характер Пимена, положение дел и начало завязки; чувство особенное, трагически спокойное, которое внушают нам жизнь и присутствие летописца; новый и разительный способ, посредством которого поэт знакомит нас с Гришкою; наконец, язык неподража-

* Мы не говорим об мелких сочинениях Пушкина, которые обнаруживают также три периода развития его поэзии.

емый, поэтический, верный — все это вместе заставляет нас ожидать от трагедии, скажем смело, чего-то *великого*.

Пушкин рожден для драматического рода. Он слишком многосторонен, слишком объективен *, чтобы быть лириком; в каждой из его поэм заметно невольное стремление дать особенную жизнь отдельным частям, стремление, часто клонящееся ко вреду целого в творениях эпических, но необходимое, драгоценное для драматика.

Утешительно в постепенном развитии поэта замечать беспре-
станное усовершенствование; но еще утешительнее видеть силь-
ное влияние, которое поэт имеет на своих соотечественников.
Немногим, избранным судьбою, досталось в удел еще при жизни
наслаждаться их любовью. Пушкин принадлежит к их числу, и
это открывает нам еще одно важное качество в характере его по-
эзии: *соответственность с своим временем*.

Мало быть поэтом, чтобы быть народным; надобно еще быть
воспитанным, так сказать, в средоточии жизни своего народа,
разделять надежды своего отечества, его стремление, его утра-
ты — словом, жить его жизнью и выражать его невольно, выра-
жая себя. Пусть случай такое счастье; но не так же ли мало зави-
сят от нас красота, ум, прозорливость, все те качества, которыми
человек пленяет человека? И ужели качества сии существеннее
достоинства: отражать в себе жизнь своего народа?



* Мы принуждены употреблять это выражение, покуда не имеем од-
нозначительного на нашем языке¹².